



Очень мало известно (хотя многое было написано) о подлинной природе джиннов, существ, которые состоят из бездымного пламени. Добра их натура или зла, ближе к бесам или к благим духам — все это вызывает яростные споры. Но вот в чем в целом удалось достичь согласия: джинны своевольны, капризны и развратны; они перемещаются на огромной скорости, умеют менять размеры и формы тела и исполняют многие желания смертных людей, если сами того пожелают или будут к этому принуждены; их чувство времени принципиально отличается от такового у детей Земли. Их не следует путать с ангелами, хотя некоторые старинные истории ошибочно утверждают, будто величайшим из джиннов был сам Дьявол, падший ангел Люцифер, сын утренней зари. Долгое время спорили и о местах обитания джиннов. В некоторых старинных историях клеветнически утверждалось, будто джинны живут среди нас, здесь, на Земле, в так называемом “нижнем мире”, в разрушенных зданиях и прочих нездоровых и мрачных местах — на помойках и кладбищах, в уличных туалетах, сточных канавах, навозных кучах. В этих уничижительных рассказах людям советуют мыться как следует после каждого контакта с джиннами — они, дескать, вонючи и разносят заразу. Однако самые достойные исследователи давно установили то, что ныне мы считаем истиной: джинны живут в собственном мире, отделенном от нашего плотной заве-

сой, и этот высший мир, Перистан, он же Волшебная страна, весьма просторен, хотя и скрыт от нас.

Упомянуть очевидное — что джинны по своей природе отличаются от людей — кажется излишним, однако у нас есть общие с нашими фантастическими двойниками свойства. Например, в вопросах веры: среди джиннов найдутся приверженцы любой известной на земле религиозной системы, и есть джинны вовсе неверующие, которым всякое представление о богах и ангелах столь же чуждо, как сами джинны чужды людям. И хотя многие джинны аморальны, по крайней мере некоторые из этих могущественных существ сознают разницу между добром и злом, между правой рукой и левой.

Некоторые джинны умеют летать, а другие ползают подобно змеям или носятся в образе огромных псов, рыча и обнажая клыки. В море, а порой и в воздухе, они принимают облик драконов. Некоторые из низших джиннов, оказавшись на Земле, не могут долго поддерживать принятую форму. Эти аморфные существа порой заползают в человека через ухо, нос или глаз и на какое-то время вселяются в него, а наскучив этим телом, сбрасывают его — люди, подвергшиеся такой операции, к сожалению, не имеют шансов выжить.

Джинны женского пола — джиннии, джинири — еще более таинственны и тонки, их еще труднее постичь, ибо это женщины-тени, состоящие из дыма без огня. Существуют свирепые джиннии и джиннии любви, но вполне вероятно, что обе эти разновидности джинний на самом деле одна: свирепый дух укрощается любовью или существо любящее из-за дурного обращения впадает в ярость, непостижимую для смертных мужчин.

Итак, вот история джиннии, великой принцессы джиннов, прославленной как Принцесса Молний, ибо она повелевала грозой; история о том, как много столетий назад, по нашему счету — в XII веке, она полюбила смертного мужчину, рассказ о ее многочисленных потомках и о том, как после долгого отсутствия она вернулась на Землю и вновь полюбила лишь на миг, а затем началась война. Это история о множестве других джиннов, мужского пола и женского, летающих и ползающих, добрых, злых и безразличных в вопросах морали, и о поре кризиса, когда распалась связь времен, о той эпохе, что мы называем временем невозможностей, длившейся два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей, то есть ровно тысячу одну ночь. Да, с тех пор мы прожили еще тысячу лет, но та эпоха навеки преобразила человечество. К добру или к худу — судить нашему будущему.

В 1195 году великий философ Ибн Рушд, бывший кади, то есть судья, Севильи, до последнего времени занимавший должность личного врача халифа Абу Юсуфа Якуба в своем родном городе Кордове, был официально лишен и доверия, и милости правителя за либеральные идеи, неприемлемые для набравших силу берберских фанатиков, которые словно чума расползались по арабской Испании. Философа сослали в маленькую Люцену поблизости от его родного города, в деревню, где жили евреи, которые не могли больше называть себя евреями, поскольку при предыдущей династии, правившей в Андалусии, при Альморавидах, их заставили принять ислам. Ибн Рушд, философ, который не был больше философом, ибо все его писания были запрещены и книги сожжены, сразу же почувствовал себя как дома среди евреев, не смевших называть себя евреями. Он побывал в фаворитах у калифа из новой династии

Альмохадов, но фавориты могут выйти из моды, и вот Абу Юсуф Якуб позволил фанатикам изгнать великого комментатора Аристотеля из столицы.

Философ, не смевший говорить о своей философии, обитал на узкой немощенной улице, в маленьком доме с узкими окнами, и отсутствие света его угнетало. В Люцене он открыл медицинскую практику, и слава бывшего врача самого халифа привлекла пациентов; кроме того, он пустил в ход свои сбережения и начал помаленьку торговать лошадьми, а также вложил средства в изготовление крупных глиняных сосудов, *тинах*, в которых евреи, переставшие быть евреями, хранили и продавали оливковое масло и вино. Однажды, вскоре после того, как началось его изгнание, девушка примерно шестнадцати лет появилась на пороге его дома: она кротко улыбалась, не стучала в дверь, не мешала ходу его мыслей, стояла неподвижно и терпеливо ждала, когда он соизволит заметить ее присутствие и пригласит войти. Она сказала, что недавно осиротела и средств к существованию не имеет, но не хотела бы работать в борделе, а звать ее Дунья — на слух не еврейское имя, однако еврейское, дескать, вслух называть запрещено, а написать его она не умела, поскольку не знала грамоты. Дуньей, сказала она, ее назвал проезжий человек, который пояснил, что это слово по-гречески означает “мир”, и ей эта идея понравилась. Ибн Рушд, переводчик Аристотеля, не стал препираться с ней: он знал, что это слово означает “мир” на многих языках и педантизм тут неуместен.

— Почему ты назвалась “миром”? — спросил он, и она ответила, глядя ему прямо в глаза:

— Потому что целый мир произойдет от меня и те, кто родятся от меня, распространятся по всей земле.

Как человек сугубо рациональный, он не заподозрил в ней сверхъестественное существо, джиннию, то есть представительницу племени джиннов, великую принцессу этого племени, путившуюся в земное путешествие, ибо она была очарована смертными людьми — всеми и в особенности мужчинами выдающегося ума. Он принял ее в свой домик на правах экономки и любовницы, и в ночной глуши она шепнула ему свое “истинное” — на самом деле подложное — еврейское имя, и оно осталось их тайной. Дунья, принцесса джиннов, оказалась неслыханно плодовита, как и предвещало пророчество. За последующие два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней и ночей она трижды была беременна и каждый раз рожала множество близнецов, по меньшей мере семь зараз, а однажды одиннадцать, если не девятнадцать — в этом вопросе сообщения уклончивы и противоречивы. Все дети унаследовали самую заметную черту своей матери: уши без мочек.

Будь Ибн Рушд посвящен в оккультные знания, он бы догадался, что его дети рождены не от женщины, однако он был слишком занят собой, чтобы это сообразить. (Иногда мы думаем, как повезло и ему, и всей истории человечества, что Дунья влюбилась в блистательный ум этого человека, ведь его эгоистичный характер едва ли мог внушить любовь.) Философ, которому было запрещено философствовать, опасался, не унаследуют ли дети от него те горестные дары, что были его наградой и проклятием, не окажутся ли они “слишком тонкокожими, дальнорезкими и свободными на язык, — вздыхал он, — то есть не будут ли чувствовать все слишком остро, видеть слишком ясно, высказываться чересчур откровенно. Это сделает их уязвимыми в мире, который возомнил себя неуязвимым, они будут осознавать его изменчивость, когда мир станет утверждать,

будто он неизменен, предвосхищать грядущее раньше других, видеть, как будущее, этот варварский захватчик, проламывает ворота настоящего, пока все еще цепляются за пустоту прошлого. Если нашим детям посчастливится, они унаследуют только твои уши, но поскольку они, бесспорно, также и мои, должно быть, они будут слишком быстро обрабатывать и слишком рано улавливать — в том числе и то, что запретно для мысли и слуха”.

“Расскажи мне историю”, — частенько просила Дунья в постели на первых порах их совместной жизни. Философ вскоре выяснил: вопреки своему юному облику девушка весьма требовательна и пристрастна, и в постели, и не только в постели. Он был крупным мужчиной, а она — словно птичка или жук-палочник, но часто он чувствовал, что она сильнее. Она стала отрадой его преклонных лет, но взамен требовала от возлюбленного таких проявлений энергии, которые давались ему с трудом. В его-то возрасте порой единственным желанием, оказавшись в постели, было поспать, однако Дунья воспринимала попытки вздремнуть как личную обиду. “Если всю ночь бодрствовать, занимаясь любовью, — говорила она, — отдохнешь лучше, чем если храпеть часами напролет, словно вол. Это всем известно”. В его-то возрасте не всегда удавалось быстро достичь состояния, необходимого для сексуального акта, особенно из ночи в ночь, но опять же Дунья воспринимала его проблемы с эрекцией как доказательство нелюбви. “Когда женщина кажется привлекательной, никаких затруднений не бывает, — твердила она. — Сколько угодно ночей подряд”. В итоге, обнаружив, что ее физический пыл можно утолить рассказом, старый философ получил некоторое послабление. “Расскажи мне историю”, — просила она, сворачиваясь у него

подмышкой так, чтобы его ладонь накрывала ей голову, и он думал: отлично, на сегодня я свободен, и принимался мало-помалу открывать ей историю своего разума. Он пускал в ход слова, шокировавшие многих современников: “разум”, “логика”, “наука”, ибо это были три столпа его мысли, те самые идеи, за которые его книги в итоге и были сожжены. Дунья пугалась этих слов, но страх действовал возбуждающе, и она прижималась крепче, умоляя: “Держи мою голову, куда наполняешь ее своими выдумками”.

В нем зияла глубокая, тяжкая рана, ибо он потерпел поражение, проиграл главную в своей жизни битву мертвому персу, Газали из Туса, противнику, который был уже семьдесят пять лет как мертв. Сотней лет раньше Газали написал книгу “Непоследовательность философов”, в которой разгромил греческих мыслителей, Аристотеля, неоплатоников и их поклонников, великих предтеч Ибн Рушда — Ибн Сину и Аль-Фараби. В какой-то момент Газали настиг кризис веры, но, оправившись, он превратился в величайший бич философов за всю мировую историю. Философия, насмехался он, не способна доказать существование Бога или хотя бы доказать, что не может быть двух богов. Философия верит в цепь причин и следствий, умаляя тем самым власть Бога, который с легкостью может вмешаться и изменить следствия, лишит причину всякой силы, если того пожелает.

— Что произойдет, — вопрошал Ибн Рушд Дунью, когда ночь окутывала их молчанием и они могли говорить о запретном, — что произойдет, если поднести к комку шерсти горящий прут?

— Разумеется, шерсть загорится, — отвечала она.

— А почему она загорится?

— Потому что так устроено, — отвечала она. — Огонь лижет шерсть, и шерсть приобщается к огню — так устроен мир.

— Закон природы, — говорил он. — Причины и следствия.

И она кивала головой из-под его ласковой руки.

— Он оспорил это, — говорил Ибн Рушд, и она понимала: “он” — это Газали, тот, кто взял верх. — Он заявил, что шерсть загорается по воле Бога. Потому что во Вселенной, созданной Богом, единственный закон — Его воля.

— Значит, если бы Бог захотел, чтобы шерсть погасила пламя, чтобы огонь стал частицей шерсти, Он мог бы сделать так?

— Да, — говорил Ибн Рушд. — У Газали в книге написано, что Бог мог бы сделать так.

Она призадумалась на миг.

— Это глупо, — решила наконец.

Даже в темноте она почувствовала его сдержанную улыбку, улыбку разочарования и боли, перекосившую бородастое лицо.

— Он бы назвал это истинной верой, — сообщил Ибн Рушд, — и сказал, что спорить с этим... непоследовательно.

— Значит, случиться может все что угодно, если Бог сочтет это правильным, — сказала она. — Например, стопы человека оторвутся от земли, и он будет расхаживать по воздуху.

— Чудо, — пояснил Ибн Рушд, — происходит, когда Бог всего лишь меняет правила, которые Он сам и устанавливает, а мы не можем этого понять, потому что Бог неумопостижим, то есть — за пределами нашего познания.

Она снова примолкла.

— Допустим, я допущу, — заговорила она после паузы, — что Бог может не существовать. Допустим, ты убедишь меня допустить, что “разум”, “логика” и “наука” обладают магией,

благодаря которой необходимость в Боге отпадает. Можно ли хотя бы допустить, что подобное допустимо?

Она почувствовала, как он напрягся всем телом. Теперь он напуган *ее* словами, отметила она, и странным образом ей это было приятно.

— Нет! — слишком резко оборвал он. — Это было бы крайне глупое допущение.

Он написал собственную книгу, “Непоследовательность непоследовательности”, в которой через сто лет и тысячу миль пытался поспорить с Газали, но несмотря на бойкий заголовок, эта книга так и не сумела подорвать влияние покойного перса, и в итоге сам Ибн Рушд был опозорен, его книги сожгли, и огонь пожрал их страницы, потому что в тот момент Богу благоугодно было разрешить это огню. В своих трудах он всегда старался примирить слова “разум” и “логика” со словами “Бог”, “вера” и “Коран”, но не преуспел, хотя весьма тонко использовал аргумент милосердия, демонстрируя цитатами из Корана, что Бог должен существовать, поскольку Он предоставил человечеству сад радостей земных, *и разве нам не посылается из облаков дождь, вода, текущая в изобилии, чтобы растить зерно и травы и сады, густые от деревьев?* Он сам был увлеченный садовод-любитель, и аргумент милосердия, казалось ему, подтверждает разом и существование Бога, и Его благость и доброту, но сторонники жестокого Бога побили его. И теперь он возлежал, как он думал, с обращенной еврейкой, спасенной от борделя, которая, казалось, умела проникать в его сны, где он сражался с Газали на языке непримиримых, на языке сердечной откровенности, во сне он шел до конца — посмей он произнести подобные слова наяву, его бы предали в руки палача.

А Дунья наполнялась детьми и опрастывалась в маленьком доме, где оставалось все меньше места для той “лжи”, за которую Ибн Рушд был отправлен в ссылку, минуты близости между ним и Дуньей становились реже, и не хватало денег. “Настоящий мужчина принимает последствия своих действий, — твердила она — тем более, если верит в причины и следствия”. Но он никогда не был силен по части зарабатывания денег. Торговля лошадьми — занятие опасное, тут всегда полно головорезов, и доходы философа были ничтожны. На рынке *тинах* множество конкурентов, а значит, низкие цены. “Бери больше с пациентов! — раздраженно советовала она. — Обрати в деньги свою прежнюю репутацию, пусть и подмоченную. Больше ведь у тебя ничего нет. А быть производящим детей чудисцем — этого недостаточно. Делаешь детей, дети рождаются, детей нужно кормить. Вот тебе «логика», — уж она-то знала, какие слова обратить против него. — А поступать иначе, — с торжеством заключала она, — и есть «непоследовательность»”.

(Джинны обожают все блестящее: золото, драгоценные камни и так далее, накапливают огромные сокровища в подземных пещерах. Почему же принцесса джинов не воскликнула “Откройся” у двери такой пещеры и не решила одним махом все финансовые проблемы? Потому что она избрала человеческую жизнь, решила жить в союзе с мужчиной, как “человеческая” жена человека, и этот выбор сковывал ее. Открыть возлюбленному истинную свою природу с таким запозданием означало признать, что в основе их отношений — своего рода предательство или ложь. И потому она хранила молчание, боясь, что он может ее отвергнуть. В конце концов он все равно ее оставил, по собственным вполне человеческим соображениям.)

А еще была персидская книга *Hazar Afsaneh*, то есть “Тысяча историй”, которую перевели на арабский. В арабском переводе историй оказалось меньше тысячи, но зато действие растянулось на тысячу ночей, вернее, поскольку круглые числа считались уродливыми, на тысячу и еще одну ночь. Самой книги Ибн Рушд не видел, но кое-какие истории из нее слышал при дворе. История о рыбаке и джинне понравилась ему не столько волшебными деталями (джинн из лампы, чудесные говорящие рыбы, заколдованный принц, наполовину человек, наполовину мраморная статуя), сколько технической изощренностью, тем, как истории вкладывались в другие истории и хранили внутри себя третьи, так что рассказ превращается в подлинное зеркало жизни, размышлял Ибн Рушд, где любая твоя история содержит в себе истории других людей и сама входит в более длинные и значимые нарративы, в историю семьи, или страны, или веры. И еще прекраснее, чем эти истории внутри историй, оказалась история самой рассказчицы, принцессы Шахразад, Шахерезады, которая рассказывала сказки своему кровожадному мужу, чтобы не быть наутро казненной. Истории, которые рассказываются, чтобы отвратить смерть, чтобы цивилизовать варвара. А в ногах супружеской постели сидела сестра Шахерезады, идеальная слушательница, и просила рассказать еще историю, и еще одну, и еще. По имени этой сестры Ибн Рушд нарек орды младенцев, изошедшие из чрева возлюбленной Дуньи, ибо сестру звали Дуньязад, “а мой дом, где не хватает света, наполняет до самой крыши и принуждает меня требовать несоразмерной платы с пациентов, с больных и страждущих Люцены, *Дунья-зат*, то есть племя Дуньи, раса дунийцев, народ Дуньи, что в переводе означает «народ мира»”.

Дунью эти слова глубоко задели.

— Хочешь сказать, — заговорила она, — что поскольку мы не состоим в браке, наши дети не получают отцовское имя?

Он улыбнулся, как всегда, печально и криво:

— Лучше им зваться Дуньязат, — ответил он, — это имя содержит в себе мир и не было осуждено миром. Если станут Рушди, от века будут мечены клеймом на челе.

С тех пор она стала рассуждать о себе как о сестре Шахерезады, которая все время просила еще историй, вот только ее Шахерезадой оказался мужчина, возлюбленный, а не родич, и за некоторые из его историй их обоих казнили бы, если б слова просочились наружу из темноты спальни. Так что он — Шахерезада навыворот, говорила ему Дунья, полная противоположность рассказчицы из “Тысячи и одной ночи”: та историями спасалась, а он подвергает свою жизнь опасности. Но когда халиф Абу Юсуф Якуб выиграл войну, одержав величайшую победу над христианским королем Кастилии Альфонсо VIII у Аларкоса, на реке Гвадиана, в которой его войска перебили 150 тысяч кастильских солдат, почти половину христианской армии, халиф принял титул Аль-Мансур, Победоносный, и с уверенностью героя-завоевателя положил конец могуществу фанатичных берберов и вернул ко двору Ибн Рушда.

Клеймо позора было стерто с чела старого философа, ссылка закончилась, он был реабилитирован, освобожден от позора и с почестями возвращен на прежнюю должность придворного врача в Кордове — через два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней и ночей после начала ссылки, то есть на тысяча первый день. Дунья была, разумеется, снова беременна, и он, разумеется, не женился на ней, не дал, разумеется, детям свое имя и, разумеется, не взял ее с собой ко двору Альмохадов, так что она выпала из этой истории, которую философ, уезжая, забрал с собой, прихватив

заодно свои халаты, булькающие реторты, манускрипты, иные в переплете, иные свитками — все это были рукописи чужих книг, поскольку его собственная была сожжена, хотя сохранилось множество копий, как он говорил Дунье, в других городах, в библиотеках друзей и там, где он заранее спрятал их на случай, если его постигнет черный день, ибо мудрый человек готовится к злосчастью, а вот благая фортуна, если человек, как подобает, скромнен, застигает врасплох. Он уехал, не доев завтрак и не попрощавшись, и Дунья не угрожала ему, не раскрыла истинную свою сущность и скрытую силу, не сказала: “Я знаю, о чем ты болтаешь вслух во сне, когда допускаешь то, что, по твоим же словам, нельзя допускать, когда не пытаешься более примирить непримиримое и высказываешь страшную, роковую истину”. Она позволила, чтобы история ушла и покинула ее, не пыталась удержать, как дети позволяют грандиозному шествию пройти мимо, удерживая его только в памяти, превращая в нечто незабываемое, навеки свое — так и она продолжала любить философа, хотя он с такой небрежностью ее покинул. Ты был всем для меня, хотела бы она ему сказать, ты был моим солнцем и луной, и кто же теперь положит руку мне на голову, кто будет целовать в губы, кто будет отцом нашим детям. Но он был великим человеком, и залы бессмертных ожидали его, а вопящая ребятня — всего лишь балласт, сброшенный на ходу с палубы.

Однажды, шептала она отсутствующему, однажды, когда ты давно уже будешь мертв, наступит миг и ты захочешь признать свое потомство, и тогда я, твоя жена-джинния, исполню твое желание, хоть ты и разбил мне сердце.

Считается, что она еще какое-то время оставалась среди людей, возможно, вопреки всему надеясь на его возвращение, а он посылал ей деньги и, быть может, изредка наве-

щал; она отказалась от торговли лошадьми, но продолжала вкладывать деньги в *тинахи*, однако солнце и луна этой истории зашли над ее домом, и ее история превратилась сплошь в тайны и тени, так что, может быть, люди правду говорят — дескать, после смерти Ибн Рушда его призрак вернулся и зачал с ней новых детей. Говорили также, что Ибн Рушд подарил ей лампу, внутри которой находился джинн, и джинн-то и стал отцом тех детей, что родились уже после его отъезда — вот видите, как легко молва переворачивает все с ног на голову! А еще говорили недоброе: мол, одинокая женщина впускала в дом любого, кто готов был платить за крышу над головой, и от каждого съемщика снова рожала, так что Дуньязат, потомки Дуньи, уже не были незаконными Рушди (по крайней мере, часть их или даже значительная часть или даже бóльшая), и в глазах большинства жизнь Дуньи превратилась в пунктир, заикающиеся расплывшиеся до бессмысленных очертаний буквы, из которых не извлечь, ни сколько она еще прожила, ни как, ни где, ни с кем, ни когда и как умерла — если умерла.

Никто не заметил — да и внимания не обратил — как в один прекрасный день она повернулась боком, проскользнула сквозь щель между мирами и вернулась в Перистан, в другую реальность, в мир снов, откуда джинны порой выходят тревожить человечество или ему благодетельствовать. На взгляд жителей Люцены она попросту растворилась, возможно — в дыме без пламени. После того как Дунья покинула наш мир, число путешественников со стороны джиннов к нам сократилось, потом они долгое время не появлялись вовсе, и щели между мирами зарастали ничего не говорящими воображению сорняками условностей и колючками скучного материализма, пока не сомкнулись

полностью, и тогда наши предки были предоставлены самим себе — творите, что сможете, без преимуществ и проклятия волшебства.

Потомство же Дуньи процветало. Это мы вполне можем утверждать. Спусти без малого триста лет, когда евреи были изгнаны из Испании — даже те евреи, которые не смели называть себя евреями, — потомки потомков Дуньи взошли на корабли в Кадисе и Палос-де-Могер, или пешком перешли Пиренеи, или полетели на коврах-самолетах и в гигантских урнах, как родичи джиннов, они пересекали материки и переплывали семь морей, поднимались на высокие горы и спускались в глубокие долины и находили приют и убежище всюду, куда бы ни пришли, и они быстро позабыли друг друга, а может быть, помнили, пока могли, а потом забыли, или никогда не забывали и сделались семьей, которая уже не была единой семьей, племенем, которое нельзя было назвать племенем, они принимали всякую религию и не принимали никакой, многие из них, спустя столетия после обращения, не ведая о своем сверхъестественном происхождении, забыв историю о насильственном крещении евреев, сделались ревностными католиками, а другие — презрительными атеистами; это была семья без дома, но обретавшая дом повсюду, деревня, не обозначенная на карте, но переносившаяся с места на место, как растения без корней, мох, лишайник или ползучие орхидеи, которые цепляются за других, поскольку не могут устоять сами.

История недобра к тем, от кого она отворачивается, но бывает столь же недобра и к тем, кто ее творит. Ибн Рушд умер (традиционно, от старости, по крайней мере насколько нам известно) по пути в Марракеш всего че-

рез год после реабилитации; ему не довелось узреть, как его слава растет и распространяется за пределами знакомого мира в страны неверных, где его комментарии к Аристотелю стали прологом к великой популярности этого могущественного праотца философов, легли в основу безбожной мудрости неверных — их *секулярной философии*: *saecularis* означает то, что возникает раз в сто лет (*saeculum*), в одну из мировых эпох, или же этот эпитет указывал, что идея годится на многие века¹, и сама эта философия была точным слепком и эхом тех идей, какие Ибн Рушд отваживался высказать лишь во сне. Быть может, сам Ибн Рушд, человек набожный, не порадовался бы месту, которое отвела ему история, ибо для верующего в самом деле странная судьба — вдохновить учения, обходящиеся без веры, и тем более странная судьба для философии — восторжествовать за пределами того мира, где жил философ, и быть уничтоженной в границах его мира, поскольку в том мире, какой был известен Ибн Рушду, умножились и унаследовали царство идейные потомки его покойного противника Газали, а собственные незаконные отпрыски, позабыв запретное имя отца, распространились по иным странам. Большое число уцелевших добралось до великого Северо-Американского континента, а многие другие обосновались на великом Юго-Азиатском субконтиненте в силу феномена “агрегации”, то есть таинственной нелогичности случайного распределения; из этих многие распространялись далее на запад и юг обеих Америк, на север и запад из бриллианта у подножья Азии, и так попали во все страны мира, ибо Дуньязат отличались не только ушами без мочек, но и бес-

1 Автор напоминает основные значения слова *saecularis*, которые были утрачены при создании термина: “секулярное” противопоставлялось религиозному, как “век”, то есть ограниченное земное время — вечности и “будущему веку”.

Дети Ибн Рушда

покойными ногами. А Ибн Рушд был мертв, однако мы увидим, как он и его противник продолжили свой спор в могиле, ибо нет пределов спорам великих мыслителей, спор сам по себе — орудие совершенствования мысли, острейший из инструментов, рожденный из любви к знанию, то есть философии.

